

ПЛЯСКИ СМЕРТИ

СТРАШНЫЕ РАССКАЗЫ



Бумажный фонарик

«Оставь надежду, всяк сюда входящий».

Данте Алигьери
«Божественная комедия»



Эдгар Аллан По

Сердце-изобличитель



Да! я очень, очень нервен, страшно нервен; но почему *хотите* вы утверждать, что я сумасшедший? Болезнь обострила мои чувства, отнюдь не ослабила их, отнюдь не притупила. Прежде всего чувство слуха всегда отличалось у меня особенной остротой. Я слышал все, что делалось на небе и на земле. Я слышал многое из того, что делалось в аду. Какой же я сумасшедший? Слушайте! вы только слушайте и наблюдайте, как трезво и спокойно я могу все рассказать.

Невозможно определить, каким образом эта мысль первый раз пришла мне в голову; но, раз придя, она преследовала меня и днем и ночью. Цели тут не было никакой. Страсти не было никакой. Я любил старика. Он никогда мне не делал зла. Он никогда меня не оскорблял. Денег его я не хотел. Я думаю, что во всем был виноват его глаз! Да, именно так! Один его глаз был похож на глаз ястреба — бледно-голубого цвета с бельмом. Каждый раз, когда он смотрел на меня этим глазом, кровь







во мне холодела, и вот мало-помалу, постепенно, мной овладела мысль убить старика и этим путем раз навсегда избавиться от его глаза.



Так вот в чем дело. Вы забрали себе в голову, что я сумасшедший. Сумасшедшие не знают ничего. Но вы бы только посмотрели на меня. Вы бы только посмотрели, как умно я все устроил — с какой осторожностью, с какой предусмотрительностью, с каким притворством я принялся за дело! Никогда я не был более предупредителен к старику, нежели в течение целой недели перед тем, как я его убил. И каждую ночь, около полночи, я повертывал защелку его двери и открывал ее — о, так тихо! И потом, когда отверстие было достаточно широко, чтобы пропустить мою голову, я протягивал туда потайной фонарь, совершенно закрытый, закрытый настолько, что ни луча оттуда не просвечивало, и тогда я просовывал в дверь свою голову. Вот бы вы рассмеялись, если бы увидели, с какой ловкостью я ее просовывал! Я подвигал ее медленно, очень, очень медленно, чтобы не потревожить сон старика. Проходил целый час, прежде чем я просовывал голову настолько, чтобы видеть, как он лежит в своей постели. А! Разве сумасшедший мог бы быть так благоразумен? И затем, когда моя голова была в комнате, я осторожно открывал фонарь — о, так осторожно — так осторожно (потому что пружина скрипела), я открывал его как раз настолько, чтобы один







тонкий луч упал на ястребиный глаз. И я делал это целых семь долгих ночей, каждую ночь, ровно в полночь, но глаз всегда был закрыт, и, таким образом, мне было невозможно совершить дело, потому что не старик меня мучил, а его Дурной Глаз. И каждое утро, когда наступал день, я спокойно входил в его комнату и оживленно разговаривал с ним, ласково называл его по имени и спрашивал, как он провел ночь. Вы видите, старик должен был бы обладать очень большой проницательностью, чтобы подозревать, что каждую ночь, ровно в двенадцать часов, я смотрел на него, покуда он спал.



На восьмую ночь я опять пошел, и на этот раз открывал дверь с еще большей осторожностью, чем прежде. Минутная стрелка на часах двигается быстрее, чем двигалась тогда моя рука. Никогда до этой ночи не *чувствовал* я размеров моих сил, моей предусмотрительности. Я едва мог сдерживать торжествующий восторг. Подумать только, я тут потихоньку открываю дверь, а ему даже и не снятся мои тайные дела и мысли. Когда это пришло мне в голову, я засмеялся чуть внятным, прерывистым смехом, и, быть может, он услыхал меня, потому что он внезапно повернулся на постели, как бы вздрогнув. Вы, пожалуй, подумаете, что я прокрался назад, — нет. В его комнате не видно было ни зги (ставни были плотно заперты, он боялся воров), и я знал, что он не мог видеть откры-







той двери, и я все толкал ее вперед так спокойно, так спокойно...



Я уже просунул голову в комнату и готовился открыть фонарь, как вдруг большой мой палец скользнул по жестяной задвижке, и старик вскочил на постели, вскрикнув: «Кто там?»

Я был неподвижен и не говорил ни слова. В продолжение целого часа я не двинулся ни одним мускулом и все время слышал, что он не ложился. Он все еще сидел на своей постели и слушал; совершенно так же, как ночь за ночью я слушал здесь тиканье стенного жучка-точильщика.

Но вот я услыхал слабый стон, и я знал, что это был стон смертельного страха. То не был стон муки или печали — о, нет! — то был тихий, заглушенный звук, который исходит из глубины души, когда она подавлена ужасом. Я хорошо знал этот звук. Много ночей, ровно в полночь, когда весь мир спал, он вырывался из моей груди, усиливая своим чудовищным откликом ужасы, терзавшие меня. Я говорю, я знал его хорошо. Я знал, что̀ чувствовал старик, и мне было его жалко, хотя в сердце моем дрожал судорожный смех. Я знал, что он не спал с того самого мгновения, когда легкий шум заставил его повернуться в постели. С этого мгновения страх все больше наползал на него. Он старался убедить себя, что опасения напрасны, но не мог. Он говорил себе: «Это ничего, это только ветер в камине, это только мышь пробежала по полу»,







или: «Это только крикнул сверчок, он только раз крикнул». Да, он старался успокоить себя такими догадками; но видел, что все тщетно. *Все тщетно,* потому что Смерть, приближаясь к нему, прошла перед ним с своею черной тенью и окутала жертву. И это именно зловещее влияние незримой тени заставило его чувствовать, хотя он ничего не видел и не слышал, *чувствовать* присутствие моей головы в комнате.



Я выждал очень терпеливо значительный промежуток времени, но слыша, что старик не ложится, я решил открыть в фонаре маленькую щелку — очень, очень маленькую. Я стал ее открывать — вы представить себе не можете, до какой степени бесшумно, бесшумно, — и, наконец, отдельный бледный луч, похожий на вытянутую паутинку, выделился из щели и упал на ястребиный глаз.

Он был открыт, широко, широко открыт, и я пришел в ярость, увидев его. Я видел его совершенно явственно — это был тускло-голубой глаз с отвратительным налетом, который заморозил кровь в моих жилах, но я не видал ничего другого, ни черт его лица, ни его тела, потому что как бы по инстинкту я направил луч света как раз на проклятое пятно.

Ну, и что же, разве я вам не говорил, что то, что вы считаете сумасшествием, есть лишь утонченность моих чувств? Я услышал тихий, глухой, быстрый звук, подобный тиканью карманных часов,







завернутых в вату. *Этот* звук я знал, отлично знал *и* его. Это билось сердце старика. Быстрый звук усилил мое бешенство, как звук барабанного боя усиливает мужество солдата.



Но и тут я еще сдержался и продолжал стоять неподвижно. Я едва дышал. Фонарь застыл в моих руках. Я пробовал, как упорно могу я устремлять луч света на глаз. А сердце все билось, эта дьявольская музыка все усиливалась. С каждым мигом звук делался быстрее и быстрее, он делался все громче и громче. *Надо думать*, что старик был испуган до последней степени! Сердце билось все громче, говорю я, все громче с каждым мигом! — Вы хорошо следите за мной? Ведь я вам говорил, что я нервен: да, я нервен. И теперь, в этот смертный час ночи, посреди мертвой тишины старинного дома, этот странный шум исполнил меня непобедимым ужасом. Однако еще несколько минут я сдерживал себя и стоял спокойно. Но сердце билось все громче, все громче! Я думал, что оно разорвется. И тут новая забота охватила меня — этот звук могли услышать соседи! Час старика пришел! С громким воплем я раскрыл фонарь и бросился в комнату. Он крикнул — крикнул только раз. В одно мгновение я сошвырнул его на пол и сдернул на него тяжелую постель. И тут я весело улыбнулся, видя, что дело идет так успешно. Но несколько минут сердце продолжало биться, издавая заглушенный звук. Этот звук, однако, больше не мучил меня; его







нельзя было услышать через стены. Наконец он прекратился. Старик был мертв. Я сдвинул постель и осмотрел тело. Да, он был совершенно, совершенно мертв. Я приложил руку к его сердцу и держал ее таким образом несколько минут. Пульса не было. Он был совершенно мертв. Его глаз не будет больше тревожить меня.

Если вы еще продолжаете думать, что я сумасшедший, вы разубедитесь, когда я опишу вам все меры предосторожности, которые я предпринял, чтобы скрыть труп. Ночь уходила, и я работал быстро, но молчаливо.



Я вынул три доски из пола комнаты и положил труп между драницами. Потом я опять укрепил доски так хорошо, так аккуратно, что никакой человеческий глаз — даже и *его* — не мог бы открыть здесь ничего подозрительного. Ничего не нужно было замывать — ни одного пятна — ни одной капли крови. Я был слишком предусмотрителен для этого.

Когда я все кончил, было четыре часа — на дворе было еще темно, как в полночь. В ту самую минуту, когда били часы, с улицы раздался стук в наружную дверь. С легким сердцем я пошел отворить ее, — чего мне было бояться *теперь*? Вошли три человека и с большой учтивостью представились мне, называя себя полицейскими чиновниками. Один из соседей слышал ночью крик; возникло подозрение, не случилось ли какого злого дела; полиция







была об этом извещена, и вот они (полицейские чиновники) были отправлены произвести обыск.



Я улыбался — *чего* мне было бояться? Я попросил джентльменов пожаловать в комнаты. Закричал это я сам, сказал я, закричал во сне. А старика, сообщил я, нет дома, он на время уехал из города. Я провел посетителей по всему дому. Я просил их обыскать все — обыскать *хорошенько*. Я провел их, наконец, в его комнату. Я показал им все его драгоценности, они были целы и лежали в своем обычном порядке. Охваченный энтузиазмом своей уверенности, я принес стулья в эту комнату и пожелал, чтобы именно *здесь* они отдохнули от своих поисков, между тем как я сам, в дикой смелости полного торжества, поставил свой собственный стул как раз на том самом месте, под которым покоилось тело жертвы.

Полицейские чиновники были удовлетворены. Мои *манеры* убедили их. Я чувствовал себя необыкновенно хорошо. Они сидели, и между тем как я весело отвечал, болтали о том о сем. Но прошло немного времени, я почувствовал, что бледнею, и искренно пожелал, чтобы они поскорее ушли. У меня заболела голова, и мне показалось, что в ушах моих раздался звон; но они все еще продолжали сидеть, все продолжали болтать. Звон стал делаться явственнее — он продолжался и делался все более явственным: я начал говорить с усиленной развязностью, чтобы отделаться от







этого чувства, но звон продолжался с неуклонным упорством — он возрастал и, наконец, я понял, что шум был не в моих ушах.

Не было сомнения, что я очень побледнел; но я говорил все более бегло, я все более повышал голос. Звук возрастал — что́ мне было делать? Это был *тихий, глухой быстрый звук — очень похожий на тиканье карманных часов, завернутых в вату.* Я задыхался — но полицейские чиновники не слыхали его. Я продолжал говорить все быстрее — все более порывисто; но шум упорно возрастал. Я вскочил и стал разглагольствовать о разных пустяках, громко и с резкими жестикуляциями; но шум упорно возрастал. Почему они *не хотели* уходить? Тяжелыми, большими шагами я стал расхаживать взад и вперед по комнате, как бы возбужденный до бешенства наблюдениями этих людей, — но шум упорно возрастал. О, Боже! *что* мне было делать? Я кипятился — я приходил в неистовство — я клялся! Я дергал стул, на котором сидел, и царапал им по доскам, но шум поднимался надо всем и беспрерывно возрастал. Он становился все громче — громче — *громче*! А они все сидели и болтали и улыбались. Неужели они не слыхали? Боже всемогущий! — нет, нет! Они слышали! — они подозревали! — они *знали!* — они насмехались над моим ужасом! — я подумал это тогда, я так думаю и теперь. Но что бы ни случилось, все лучше, чем эта агония! Я все мог вынести, только не эту насмешку! Я не мог боль-









ше видеть эти лицемерные улыбки, чувствовал, что я должен закричать или умереть! — и вот — опять! — слышите! — громче! громче! громче! *громче!*

«Негодяи! — закричал я, — не притворяйтесь больше! Я сознаюсь в убийстве! — сорвите эти доски! — вот здесь, здесь! — вы слышите, это бьется его проклятое сердце!»





ПАДЕНИЕ ДОМА ЭШЕР

Son coeur est un luth suspendu:
Sitôt qu'on le touche, il resonne.
Béranger[1]



В продолжение целого дня, тусклого и беззвучного дня мрачной осени, под небом, обремененным низкими облаками, один, я проезжал, верхом, по странно-печальной равнине, и наконец, когда уже надвинулись вечерние тени, передо мной предстал угрюмый Дом Эшер. Не знаю почему — но лишь только взглянул я на здание, чувство нестерпимой тоски охватило меня. Я говорю нестерпимой, потому что она отнюдь не была смягчена тем поэтическим, почти сладостным, ощущением, которое обыкновенно испытываешь даже перед самыми суровыми, перед самыми пустынными и страшными картинами природы. Я смотрел на сцену, открывшуюся моим взо-

[1] Его сердце — воздушная лютня,
Прикоснись — и она зазвучит.
Беранже



